

ЧЕ-ЧЕ-О (Областные организационно-философские очерки)

Пишут, что хорошо выезжать из Москвы, потому что, дескать, сразу окунешься, во-первых, в травяную русскую природу, отдыхая душой, а во-вторых, в советские массы, в строительство. Хотя писатели и пишут всегда о том, чего с них не спрашивают, тем не менее слово печатное уважать надо: и мы поехали в город Воронеж на предмет изучения бюрократизма ЦЧО и ознакомления с массами, поселились за тремя окошками с палисадником и с цветами на подоконниках, известными от детства и с детства не имеющими имени. На окне у нашего хозяина, кроме цветов, помещался еще все-союзный дьячок, как называют здесь радио за хрипоту его и поучительность. Хозяин наш Федор Федорович каждое утро уходил к себе в железнодорожные мастерские, а мы изучали, взяв предпочтительно в поле зрения нашего людей, а не учреждения, дабы не быть оглушенными гулом мероприятий, придерживаясь, при изучении материала, статистических принципов. Надо объяснить заглавие организационно-философских наших очерков. Были мы, изучали мы в ЦЧО, в Центрально-Черноземной области, вновь организующейся. Це-Че-О по воронежскому говору выговорить трудно, — говорят ЧЕ-ЧЕ-О.

Город и историю его мы изучали пешком. Все вывески, где раньше было «губ», теперь перекрашены на «обл».

А пешком мы ходили по следующей причине. Трамваев в городе штук одиннадцать примерно, на три городских маршрута. У посадок в трамвай всегда суетятся, сесть все не успевают, а трамваи ходят полупустыми. Трамваи — совершенно как в Москве, только разница в букве В: ВКХ — вместо МКХ. На одиннадцать трамваев имеется двадцать семь человек контролеров — девять человек от ГЖД, остальные от горсовета и прочих учреждений. В каждом вагоне едет не менее двух контролеров, кондуктор — обязательно — милиционер, как бесплатное приложение контролеру и кондуктору, управляющееся, в благодарность за провоз, со злостным пассажиром. Предпочитали мы ходить пешком не потому, что не испытывали затруднений от воронежских концов, где массы населения перебрасываются трамваями, но потому, что твердо установили, что со стороны ГЖД, Горсовета, Адмотдела и прочих организаций предпринято, в сущности, все, чтобы сделать поездки людей жизнеопасными и чреватými экономическими последствиями, то есть приводами в милицию, штрафами и прочими ущербами для личности. Мы рассчитали статистически: московские трамвайные порядки усвоены Воронежем в кровь, но жителей в Москве больше в двадцать пять раз, трамваев — в сто раз, — и Воронежцам осталось только трамвайно-административная энергия в количественном московском масштабе: число ежедневно — трамвайно-наказуемых в Воронеже равно московскому числу, — и очень редко поэто-

Че-Че-О (Областные организационно-философские очерки). — В соавторстве с Бор. Пильняком. Впервые — «Новый мир», 1928, № 12.

Созданию очерков предшествовала совместная поездка Бор. Пильняка и Андрея Платонова в Воронеж летом 1928 года по командировке «Нового мира». Параллельно с работой над очерками писатели создали сатирическую пьесу «Дураки на периферии», которую Бор. Пильняк читал — текст пьесы не был опубликован — на одном из собраний Всероссийского союза писателей. Возможно, что и пьеса, исследующая проблемы бюрократизма, сходная тематически с платоновским «Городом Градовым» (1927), и очерки писались на даче у Бор. Пильняка в Ямском Поле. Очерки подписаны этим адресом — «Ямское Поле». В дальнейшем пути писателей разойдутся.

му можно проехать в воронежском трамвае, недополучив к билету особой квитанции об уплате штрафа, либо протокола, либо нравственного оскорбления.

Мы уже приступили к исследованию основной нашей темы о бюрократизме «Наши не хуже ваших».

Этим и объясняются свалки на остановках: кроме трамвайного надзора за собою, туземное население, полюбив административное благочиние, само помогает контролерам вылавливать трамвайных вредителей и добровольно устраивает давки на остановках, стоя на страже трамвайной законности.

Изучая принципы бюрократической давки, установили мы новую, раньше не бывшую здесь особенность — носить мужчинам бакенбарды. Бакенбард в Воронеже много, и все они с портфелями. Причина возникновения бакенбард необъяснима, но вид их очень напряжен. Федор Федорович, рабочий-ветеран железнодорожных мастерских, философ и наш хозяин сказывал нам, будто в газете было воззвание Облсовета Физкультуры: «За советскую бакенбарду? Опрятная наружность есть символ идеологической устойчивости! Физкультурник, будь впереди? За новую наружность! За нового человека?»

Было ли такое воззвание или не было — это на совести Федора Федоровича, — Федор Федорович любит говорить иносказательно. Мы же, при нашем изучении, обследуя газеты, ничего такого там не нашли. Нашли лишь снимки будущего здания облисполкома, будущего облпрофсовета и прочих будущих емких помещений. Мы рассматривали внимательно фотографии: нет ли в будущих камнях будущей областной архитектурной стойкости либо отпечатков будущего ума и организационного умения? Затем в газете напечатаны были портреты туземно-областных вождей, карта нашей области и заметка об аржанской фабрике грубых сукон, расположенной в Тамбовской губернии и напечатанной исключительно ради областных масштабов. Больше ничего туземного в газете не было. Отмечалось подробно выступление тов. Терентьева в споре с архиереем. Тов. Терентьев выполнял в областном масштабе то, что тов. Ярославский делает во всесоюзном, а тов. Вольтер делал во всемирном. В остальном газета следовала Вольтеру, занимаясь всемирно-историческими вопросами, давая искренние советы французам, англичанам и китайцам и сожалея, что впредь бывшие ее советы не приняты впрок этими странами. Судя по карте области, напечатанной в газете, область эта, по поводу которой в газете отмечены будущие здания и спор с архиереем, — размером много больше, чем Британские острова. Федор Федорович, иносказательный человек, молвил однажды:

— Как вы думаете, приезжие люди, как надо устроить, чтобы на месте, где два колоса растут, три выросли бы? Ну и как поступать, ежели колосьев по-прежнему два?

Мы бросили внешнее изучение облгорода, потому что первым делом мы видели всегдашнюю воронежскую пыль, переулки, свиней — обыкновенное среднерусское устройство оседлости, — и дома стояли совершенно так же, как и в губернском отношении. На подоконниках цвели герани. Бакенбарды возвращались со службы, обедали и возвращались на службу, на вечерние заседания, а после них ели на бульваре мороженое у отходников из воронежских деревень. Книжная воронежская история интересовала нас мало, по причинам нашего уважения к предмету и краткости пребывания, хотя самой истории в городе мало. Отметим лишь странное обстоятельство этого черноземного города — именно то, что Воронеж есть колыбель русского морского флота, обстоятельство очень поучительное для российской истории и очень характерное. Проходит тут видная от Митрофаньевского монастыря древняя дорога из Варяг в Греки — Калмиусская Сакма, обстоятельство для нас не особо важное, ибо нечего поминать нам о варягах. Было в этих местах много разных святых, один из них, Тихон Задонский, был даже приятелем русской литературы, — приятельствовал с Федором Михайловичем Достоевским, — но и это неважно нам. Существенно отме-

тить — опять о Петре: превратив степной город Воронеж в Российский Амстердам, именно отсюда Петр людьми и приспособлениями начал водный канал, который должен был соединить Дон с Окаю (Епифаньские шлюзы живы были до 1910 г.) — Епифаньские эти шлюзы суть прародителя ныне, через двести лет после них роемого Волга-Дона. Вот и все исторические справки. Пыль черноземная и пыль истории — вещи ни с чем не сравнимые. Еще задолго до европейской войны, несмотря на плодородие почвы, крестьянство Воронежской губернии и соседних с нею начало быстро беднеть, поставляя отходников в города и в Донбасс. Сельское хозяйство императоров завело крестьян в тупик, требовало крупной социальной и технической реорганизации. Столыпин тогда давал деревенской верхушке исход на хутора: остальное крестьянство нашло себе выход в революции.

Наш сосед и друг Федора Федоровича, Филипп Павлович, сам бывший крестьянин, ныне электромонтер, рассуждает:

— Исход крестьянам найден правильный — коллективы. Прямо надо заочно считать, что от удачи коллективов зависит спасение деревни, и спешить с этим необходимо надо, прямо надо сказать: положение деревни теперь бедовое. Коллективы по деревням нам сейчас нужнее Днепростроя. Не удадутся коллективы — мужик будет спасаться в одиночку, иначе сказать, пойдет по кулацкой дороге. Каждый трудящийся есть хочет. Государство должно всякому питанию помогать, и чтобы это содействие не буксовало на бумаге, как колесо на рельсе. А опасения от переусердия уже имеются, — я ведь далеко вижу. Колхозоцентр уже трудится, а кроме него — сосчитаем про себя — волостные, уездные, губернские, областные, разные там органы норовят влипнуть в колхозное строительство, — и все хотят руководить, указать, увязать, согласовать, проработать, проинструктировать, подтянуть и проутюжить. Главное руководство, я полагаю, заключается в том, чтобы не мешать безвыходному желанию мужиков к устройству своей судьбы через коллективы, — я сам мужик, я-то себя знаю. Что нужно деревне? — в первую очередь нужны землеустройство, мелиорация и огнестойкое строительство. Агрономия, я так полагаю, — очередь вторая, особенно по теперешнему времени, когда участковый агроном еще кое-как усердствует, — а что выше участкового, — так те совсем не нужны, они все разъезжают междуведомственно, согласуют будущее и к крестьянству не относятся.

Мы перебили себя сельскохозяйственными суждениями Филиппа Павловича, дабы малявинскими красками нарисовать черноземный пейзаж, имеющий, по существу говоря, краски в себе серые, медленные, длинные. К сельскому же хозяйству относятся хлебозаготовки. Видели мы хлебозаготовителей, безошибочно можно сказать, что на душах у них лежат тяжести, равные весу заготовленного ими хлеба. Народ они хороший, несчастный и молчаливый (молчаливый, быть может, потому, что на ссыпунктах неминуемо много приходится разговаривать, вплоть до тяжелого сердцу мата). Познакомились мы с молчаливым кооперативным членом правления и слышали его историю. Вызывал его проезжавший мимо в своем вагоне замнаркомторг для надлежащего подтягивания, дошел член правления до вагона, взялся за поручни — и ужаснулся тогда, а ужаснувшись — пригнулся к земле и исчез в неполотых просяных полях, где и пробыл наедине с природой трое суток, не пивши, не евши. Его искали сельские милиционеры, но разве сыщут кого эти люди, самые кроткие из всех попечителей благочиния на земле? — и член правления на четвертый день самовольно возвратился домой, съел две корчажки сметаны с хлебом и пошел в свое правление, а вагон замнаркомторга отбыл вдаль по своему расписанию.

Гражданин этот — кооперативный член правления — был приятелем Федора Федоровича, забегал иной раз послушать нашего всесоюзного дьячка, и Федор Федорович, близкий к железнодорожному делу человек, проектировал часто разные способы усиления хлебозаготовок, так как до его сердца слишком все касалось.

Например. Наглядным опытом, через окна вагонов, знал Федор Федорович, что еще с самой ранней весны, почти сейчас же после снега, самый главный пассажир, который едет мимо Воронежа на Кавказ, есть — отдыхающий. Уверял Федор Федорович, что эти нарицательно называемые отдыхающие, едущие по курортам, не есть ни рабочие, ни средние служащие, а явный бюрократический актив, вооруженный секретареподобными женами или женоподобными секретарями, умеющий пластическим путем фильтроваться сквозь государственные трущобы в страны, не им и не для него завоеванные в 1920 году. Так вот, Федор Федорович предлагал — перестать кормить этот бюрократический актив, не трогая пока пассива, прекратив одновременно его перевозку на юг для наращивания пластических сил, возя на его месте съедобные мешки. Федор Федорович утверждал, что это способствует вывозу хлеба и ввозу машин из-за границы, а также и тому, что кооперативному нашему члену правления реже придется убегать со столбовой дороги социализма в просо, как прискорбно выразился Федор Федорович.

Федор же Федорович рассказал нам о встрече в поезде, когда ездил он поднимать из-под откоса свалившийся паровоз.

В Рязске сел внимательный человек, развернул бумагу с колбасой и начал закусывать, безотчетно рассматривая пассажиров. Напитавшись, он зорко уставился в окошко и не отрывался от зрелища великорусских пространств сто верст. Тогда он обратился к Федору Федоровичу как к железнодорожнику.

— Никак не вижу межи! — сказал с огорчением. — Здесь сразу должны кончаться суглинки и подзолы и должна начинаться сплошная чернота почвы, именно Че-Че-О.

— Какая межа? — спросил Федор Федорович.

— Межа Че-Че-О, Центральной Черноземной Области. Она, извольте видеть, больше Англии и чуть меньше западноевропейских держав, а вот межи никак не видно, хотя на плане она ярко нарисована жирной чертой. Как же так?

Помолчали. Внимательный человек глядел в окно.

— Вы куда едете-то? — спросил Федор Федорович.

— В Воронеж — куда же больше? — вопросом ответил внимательный человек.

— Это почему же вы так говорите — «куда же больше»? — на вопрос вопросом ответил Федор Федорович.

— А там, видите ли, организована теперь Черноземная Область, Че-Че-О. Отстраиваются новые учреждения. Еду служить. Я человек сокращенный.

— Откуда? — сочувственно спросил Федор Федорович.

— Сократили?

— Да.

— Известно — из учреждения. Я человек служащий. Мы всю жизнь служим. Десять лет я состоял беспорочно в уездной архивной комиссии, а теперь свалили все документы в подвал статбюро, а в городе хорошего крысомора нету. Теперь звери всю мою работу поедят. А сколько трудов на те документы положили — уму не понять! — как же? — все остатки революции в них, больше их нигде нету.

— Думаете там работу найти, в Воронеже? — спросил Федор Федорович.

— Непременно, — ответил архивариус. — Люди моего сословия должны находиться в служебном состоянии. Непременно!

Федор Федорович в тот вечер, как рассказывал нам об этом своем свидании, совершенно разохался: «Ведь вот сукины суслики! — сколько их по советской земле ездит, службу ищет, колбасу жрет! — и смотри ты, как они в канцеляриях дела листают, как суслики рожь едят!..»

Показывал нам потом Федор Федорович на улице этого внимательного суслика: устроился, вошел в свое состояние, служит, отпускает бакены, вошел в служебную схе-

му. Федор Федорович уверен, что именно эти самые суслики такие, например, правила чинят по его железнодорожному делу: опоздал поезд на сорок три минуты, стоять ему по расписанию пятьдесят минут в Воронеже. Прицепили свежий паровоз, ползили по крышам, добавили воды в уборные, служба технического осмотра проверила рессорные тележки и простукала бандажи, — дела на десять минут, а поезд стоит единственно из-за того, чтобы отстоять свое время ради точности расписания, хоть и мог бы сократить опоздание, — стоит по регламенту, а не по смыслу.

Видели мы областников, так сказать, строителей. Угощали они пивом москвича в столовой ЕПО, организационно обсуждали, опираясь на портфели, и пребывали в организационно-областной ярости. Многого из их разговоров подслушать нам не удалось, в силу естественного страха, который исходил к нам от них.

— Позвольте, Иван Сергеевич, куда ж это годится! — говорил средний человек, утирая бредовой пот со лба прямо ладонью. — Надо всесторонне обсудить, как поделить нам организационно и исторически неделимое? Тамбовский край, эта культурная единица, существовал еще со времен Гавриила Романовича Державина, когда покойный был тамбовским губернатором. Тамбовский край уже тогда был государственным понятием, а сейчас мы предполагаем северный кусок природного поценокского края отхватить от Тамбова в другой округ. Извините, мы тоже пока еще губерния! — у нас есть ВНИК! — Воронеж — это еще не Москва, это лишь губерния, и даже не из важных!

Нам показалось, что этот деятель, начав за здравие масштабов областных, заканчивал упокоем своей губернии, откуда, по всем видимостям, происходил родом и служебным положением. Другой собеседник был более областно-мыслящ, судя по его словам, в силу той причины, что происходил он из Кирсанова. На Тамбов он нападал, считая его тургеневским дворянским гнездом и в вишневых садах, — но нападал и на Воронеж, отдавая дань его морскому прошлому, после которого в округе остались только одни леса местного назначения, он даже не отстаивал Кирсанова, ибо вопрос Кирсанова не касался, но сообщил все же, что отапливается теперь Кирсанов не кизяком, а торфом и в прошлом году был вырыт первый артезианский колодезь. Поскольку дело не касалось Кирсанова, патриотической ярости у кирсановца не замечалось.

— Нет, товарищ, — сказал третий, отпивая пиво. — Теперь такая эпоха, приходится все сверху донизу, снизу доверху, а также вдоль и поперек. Теперь самокритика пошла, нашего брата массы в плюшку жмут.

Величественный москвич, в честь которого пили пиво, рассудительно и таинственно молчавший, несколько оживился.

— Не совсем так, товарищ, не совсем! — сказал он. — Мы никак не привыкнем к равновесию... Я бы сейчас главным лозунгом объявил равновесие мероприятий. А то получается не самокритика, а — бичевание.

В этом месте своей речи, к слову сказать, не очень внятной и четкой, москвич предложил своим собеседникам папиросы «Герцеговины Флоры».

— Сделайте одолжение, — сказал он. Кирсановец посмотрел коробку хозяйственным глазом, понюхал табак и спросил:

— А сколько же стоит такая одна папиросина?

— Пустяки, — сказал москвич, — шестьдесят пять копеек пачка.

— Ага. Без малого три копейки штука. У нас на три копейки можно пучок купырей купить, можно полбуханки хлеба съесть, можно стакан молока выпить, за две папиросины тебе лапоть сплетут, а другой сам на дороге найдешь, — сказал кирсановец, выводя товарную стоимость трех копеек; еще раз осмотрел папироску и сладко закурил.

— Это же и есть равновесие, о котором я говорю, — конкретно увязал москвич. — Я, допустимое моими газетными статьями зарабатываю четыреста-пятьсот, а

вы — сто. Но вы живете зато не в Москве, и мои четыреста, если подсчитаешь, равны вашим семидесяти рублям.

— Значит, деньги у нас в пять раз дороже? — спросил тамбовец.

— Вот именно, — ответил москвич.

— Я вот курю папиросы «Бокс», — сказал кирсановец — значит, мой «Бокс» выходит по вкусу, что и ваши «Герцоги», либо даже лучше?

Москвич мягко поправил кирсановца, молвив учтиво:

— Одни папиросы брать, конечно, не следует. — Вы примите во внимание квартиру, ванну, отопление... Надо брать всю массу товарной продукции и учитывать по среднему...

— Не учтешь! — сказал грустно кирсановец. — Ванн, например, у нас не полагаются, ходи в две недели раз в баню? У нас в одной волости пять лет подряд двадцать тысяч десятин без обложения налогом существовали, а говорят, город Лондон меньше этой площади. Значит, у нас город Лондон вроде бы стоял, а мы его и не видели... А найди виноватого, — виноватого учесть еще труднее, чем пропавшую площадь: та хоть травой зарастет, отговорка есть, что из-под травы не было видно.

— Равновесия нет, — молвил москвич, точно накладывая свою резолюцию на все местные беды. — Вы раньше сказали о самокритике, что масса учреждения давит... Вот вам и результат! Разве это требуется? Никакое учреждение при таких условиях работать не может, потому что учреждение должно руководить. Не правда ли? — А иначе придет какой-нибудь болван в учреждение синдиката и скажет: вас я сокращаю, а себя сажаю, ступайте в молотобойцы... Ну и что же будет? — будет хуже, будет плохой кузнец, только и всего. Нет, надо самокритику ввести в здоровое русло придать энергии народа плановый темп!

— Русло тоже дело ненадежное, — сказал кирсановец, представив себе, должно быть, русло речное. — Реки иной раз размывают свои русла.

Тамбовец вернулся к теме в масштабах областных.

— Я полагаю, с областью мы явно спешим, — заявил он горестно. — Границы округов определены наспех, губернские и уездные работники далеко не все получили назначение на новые областные посты, а понаехало уже много иногородних. И вообще, в общем и целом, будущее рисуется далеко не в четких перспективах. Кирсановец молвил раздумчиво и печально:

— Говоря по совести, у меня ум за разум зашел. Крестьяне будут пахать по-прежнему, как и в губернском масштабе, рабочие не бросят работать оттого, что границы округов не уточнены. Это верно. Наше дело — руководить. Это тоже верно... Раздумаешься иной раз... Настоящее руководство — всегда, конечно, помощь. Ну а бюрократическое иной раз обращается прямо во вредительство, я на своей шкуре знаю. — Он помолчал и сказал твердо: — То руководство, которое обращается за помощью к массам, само, следовательно, способно помочь рабочему и крестьянину раздавить живой силой жизненные затруднения и прямо вести по дороге революции. В этом, я полагаю, и есть весь смысл самокритики.

Собеседники его посматривали неодобрительно. Мы свое пиво выпили и оставили столовую ЕПО, а затем, не имея плана прогулки, пошли к Митрофаньевской площади, откуда видна Сакма Калмиусская. Лежала перед нами степь, и явно чувствовалось нам, что это не простые уже губернские поля с перелесками местного назначения, а — областные. Рожь, по подсчетам областных организаторов, расти будет гуще. Пусть растет! — и на густую рожь найдутся едоки!..

Вечером однажды, в тишину российского дождика, валяясь на своих койках, разговаривались мы о трамваях, о бакенбардах, о любви. Разговоры наши были скучны. Не могли мы не согласиться с другом, что впечатления наши совпадают совершенно, — о том, что служащая провинция уж очень много больше, чем следует, заражена бю-

рократизмом. Служащий человек ведет себя и на воле, как на службе. Он недоверчив, он одинок, он непрерывно боится за свою судьбу и занимается самоспасением. С ним трудно ехать в трамвае, с ним не о чем разговаривать, ибо он хитрит и готов подставить ножку, жене и детям с ним невероятно скучно. Мы раздумались о женах этих мелких бюрократов, души которых повреждены бакенбардами. Жена и дети не знают, какие почки настояли сердце их отца и мужа, они чувствуют на себе всю гнетущую, мрачную, иссушающую силу этого родного сердца, которое и на детей своих смотрит затравленными и зайцем и волком одновременно. Мы договорились до того, что бюрократизм есть новая социальная болезнь, биологический признак целой самостоятельной породы людей. Он вышел за стены учреждений, он отнимает у нас друзей, он безотчетно скорбен, он сушит женщин и детей.

На печаль нашу зашел к нам Федор Федорович, бодрый человек. Послушал нас, сказал, как всегда, иносказательно.

— При диктатуре пролетариата, я так полагаю, при советской власти дорог бояться не надо. К социализму надо идти — по пути трудному, а которые себя облегчают в дороге — грош тому цена. При пролетарской диктатуре всякие организации есть дело второстепенное и низкое. Первостепенно надо: делать вещи, покорять природу и — самое главное — искать дороги друг к другу. Дружество и есть коммунизм. Он есть как бы напряженное сочувствие между людьми.

Приходили к нам изредка гости — не наши друзья, но друзья Федора Федоровича, местные мастеровые, как любят называть себя рабочие. Каждый день беседовали мы с Федором Федоровичем. Он говорил иносказательно, но точно. Чтобы понимать Федора Федоровича, надо глядеть ему в глаза и сочувствовать тому, что он говорит, тогда его затруднения в речи имеют проясняющее значение. На подоконнике, у нас, рядом с дьячком, росли кроткие цветы, не имеющие названия с детства. Федор Федорович говаривал часто:

— Мастеровой в наши дни стал более скрытным, прямо углубленный и задумчивый человек. То ли это развитие личности, то ли печаль. В старое время общая безнадежность делала нас в своем кругу веселыми и самозабвенными. Теперь у молодых рабочих есть надежда и есть какая-то внутренняя неуверенность в ней.

Часто спрашивали мы Федора Федоровича: как он думает — одна область лучше четырех губерний?

К Федору Федоровичу изредка приходил гармонист. Федор Федорович не знал тогда, чем лучше угостить гармониста, заслушивался его и волновался от музыки.

— Рабочий человек, — говаривал Федор Федорович, — должен глубоко понимать, что ведер и паровозов можно наделать сколько угодно, а песню и волнение сделать нарочно нельзя. Песня дороже вещей, она человека к человеку приближает. А это трудней и нужнее всего.

И однажды, слушая музыку, Федор Федорович сказал по поводу области:

— Вот видишь, чем надо людей смазывать. А вы говорите — организация. Она, понимаешь ты, как мучной клей. Помнишь, им газеты к заборам приклеивали, и ни черта не держалось. Нравоучительность из нас куда-то пропала. В газетах пишут, что наша губерния вся запаршивела и оскудела. А по-моему, она не оскудела, а ее объели, и объедали лет сто подряд. Областью тут не поможешь.

Слушая гармонию, выпивали мы иногда по рюмке водки, и Федор Федорович всегда в таких случаях говорил:

— Сердечность у нас пропала, необходимость оскудела. Раньше ты мне дорог был, а теперь и умрешь, — все равно.

Федор Федорович рассказывал о своих цеховых делах. Живого его языка упоминать невозможно, примерно он таков:

— Например, так. Он человек молодой, а я уже почти старик. Он приходит в цех, ему дают работу. Я тридцать лет мастеровой, я не грубо знаю дело, а он мальчик, работать не умеет. — Ну, кого послать, скажем, в организацию? — посылаем его, нам он в работе не нужен, работать он не научился, а таких, как я — я это по душам говорю, положи руку на сердце, — таких у нас во всех мастерских двадцать человек, мне от работы отойти невозможно. Вот он там и делает власть за нас, а что он понимает?! Юноши, попавшие в цех, никому не дороги, да и им самим не дорого работать за станком. Ими и затыкают всякие выборные должности, а потом они сами делаются профессиональными руководителями, без всяких прочих товарищеских связей с мастеровыми. Понятно, что многие молодые рабочие так и смотрят на завод как на исходную точку своей будущей общественной карьеры, как на временное, бросовое ремесло. Он поработает год, много два, по всем документам — он рабочий, и тогда начинает идти во всякие высокие двери профпарт и сво-организации. А там наверху, в руководящих сферах, молодому человеку представляется теплота обеспеченной жизни, почетность положения и сладострастное занятие властью. Ну и многие получают эти блага взамен равнодушия мастеровых, оставшихся при станке. Я своего станка ни на что не сменяю, потому что не уважаю ни имущества, ни должности. А другие и хотели бы, да не всем же властвовать, ко власти лезут которые верткие, а всем не вместиться.

А отсюда и скрытность и задумчивость рабочего советского человека...

Музыку Федор Федорович и его друзья слушали с упоением, еле сдерживая свои героические и жалобные чувства. Худой гармонист пил водку, играл, сохраняя серьезность и глядя на слушателей пустыми глазами, прислушивающимися к музыке.

Однажды он играл шимми. Федор Федорович и Филипп Павлович и шимми прослушали с волнением. Они не знали, не видели этого танца шелка-чулочных ног и бесполох тел, которые из этой музыки сделали провокацию акта размножения. Музыка им предстала очищенной от пошлости, они принимали ее, как музыку людей, а не бесполох ног, как искреннюю тонкую пьесу.

По их лицам было видно, что эта музыка для них кажется нежною и энергической, грустью безымянного близкого человека, заблудившегося в сложном устройстве мира, среди людей холодных, как сооружения. Гармонист кончил играть и выпил для организации утомившейся души. Мы рассказали Федору Федоровичу правду этого мотива, о той пошлости, которая оплетает земной шар этой музыкой. Федор Федорович смутился на минуту за свои героические чувства, но скоро оправился, оправдав себя:

— Все можно изгадить, — сказал он. — Может, музыкант и не знал, что сделают из его песни. Я так думаю, любое искусство сделано по модели любви. Ну а ты сам знаешь, что можно из любви сделать, какую мерзость, а чище любви — ничего необходимого нет.

Однажды, тоже после музыки и в дождливый вечер, был такой разговор. Заскрипело вдруг радио, Филипп Павлович сказал Федору Федоровичу:

— Федя, заткни ты этого хрипатого дьявола, мы не к обеду пришли, а к тебе.

Мы говорили о предприятиях, которые работают над объединением пролетариата. Рабочие подсчитали, что они громадны, дорогостоящи, многочисленны. Федор Федорович утверждал, что в них вместо горячего клея употребляется остуженный кисель либо мучная пыль на воде, какими нельзя приклеить к забору газеты. Именно тогда Федор Федорович говорил о том, что у рабочих пропала нравучительность. Филипп Павлович показал газету, там нарисованы были два пролетарских сапога, которые хотели растоптать попа и толстого лавочника.

— Не понимаешь? — сказал Филипп Павлович. — Поп, — ну, какой он нам нынче враг? — соринка? Лавочник — да его и давить-то нечего: открой лишний кооператив, и лавочнику — гробик еловый! Другие враги теперь родились, вон, например, на шахтах и еще в прочих губерниях.

— А еще вот — грызун, помнишь, рассказывал, в поезде черту искал, — вставил Федор Федорович.

— Во-во, и он, — подтвердил Филипп Павлович, — и прочая бюрократическая бакенбарда, и которые по Кавказам ездят.

Филипп Павлович перебил себя, обратившись к нам:

— Ты вот что объясни нам, — сказал Филипп Павлович. — Почему это все в массы швыряют — прямо как кирпичи летят. Книгу, пишут, — в массы, автомобиль — в массы, культуру — тоже, значит, в массы, то есть к нам, к одному месту, дьячка этого, — он кивнул на подоконник, — тоже в массы, критику — опять давай в массы. От таких швырков голова отлетит.

— Радио же вон дошвырнули?

— Радио — это да, только никто не швырял, я сам сделал на свои деньги. А вот другие вещи, на которые государство деньги тратит, до нас не долетают, на воздухе от трения сторают, вроде как звезды, небесные кирпичи.

Федор Федорович подтвердил:

— Зашвыряли массы, прожевать некогда.

Филипп Павлович закончил свою мысль: спеша опередить Федора Федоровича:

— А ведь это только сверху кажется, — крикнул он, — только сверху видать, что внизу — масса, а на самом деле внизу отдельные люди живут, имеют свои наклонности, и один умнее другого.

Наутро после вечера разговоров о массах Федор Федорович рассказал нам странный свой сон. Сон этот волновал Федора Федоровича, говорил он сокрушенно. Он видел во сне, что он ехал по своему участку. И вдруг ему представилось, что он наяву видит, как под колесами поезда проскакивают границы губернии, области, РСФСР, уездов, райвиков, сельсоветов, районов тяготения к ссыпным пунктам и элеваторам, сферы действия уполномоченных по расширению площади посевов сахарной свеклы и ликбезов, профсоюзные линии, разграничивающие скрецающиеся влияния райкомов, райуполномоченных, у-ов, губ-ов, обл-ов, разных инструкторов и прочих деятелей, организующих труд и область, Федор Федорович видел тысячи линий: жирных, тонких и пунктирных, которые легли на землю так, что из-за них не было видно травы. Федор Федорович был удивлен своим сном.

— Поди ж ты! — говорил он. — Ведь ежели издать генеральную карту организационного устройства области, чтобы не упустить чего-либо из памяти, чтобы любой ходок и ездок мог бы свободно узнать, под чьим непосредственным воздействием он находится в данную минуту своего жизненного существования, — так такую карту и издать невозможно, бумажный планшет, чего доброго, пришлось бы склеить размером в самую область. Иначе невозможно будет разместить все линии организационного размежевания, невозможно будет четким образом уместить все линии прямых и косвенных соподчинений, планирующих увязок, инструктирующего обслуживания и всего прочего необходимого. Линии, чего доброго, совпадут, лягут одна на другую, и получится сплошная тьма чернильная, в которой не разберешь, кто кем руководит, кто умнейший актив и кто отсталая масса, подлежащая срочной культурной революции... И поди ж ты! — видел я еще во сне архивариуса, — он не пойдет на надел землю пахать или на завод к станку, — он сидит на областном планшете, в щели, сукин сын, — в государственной, заметь, щели, — и чувствует себя спасителем революции!..

Выехали мы из Воронежа степным скучным вечером, в тот час, когда в учреждениях кончили уже передвижку столов и распланировку отделов под областные органы, с тем чтобы завтра служащим людям сесть иначе, во имя нового режима писчего дня.

— Федор Федорович, — спросили мы последний раз, выполняя наше задание. — Что же, нужна вам область или нет?

— Не обязательно, — ответил Федор Федорович. — Все вторичное нужно, когда первая необходимость есть.

— А это что такое? — не поняли мы.

— Это, как тебе сказать, — когда мне и тебе отлично, и ребенка пустить к людям не страшно. А второе тебе будет хлеб с закуской. А третье — область твоя. Надоел ты мне с ней.

— А отчего нам станет отлично?

Федор Федорович стал в тупик, ответил не сразу.

— От хороших людей, наверное? — полувопросом ответил он. — Наделать всего побольше, чтобы никто не серчал, — богачей ведь у нас нету, никто не отымет, — и надо уважать друг друга, не бояться. Трудовой человек должен напряженно сочувствовать другому обремененному. Надо уважать человека. Это самое главное. Тогда и труд будем уважать.

Над областью лежала тьма, ровесница сотворения мира, когда мы уезжали из Воронежа, где в столах учреждений покоились до утра сложные планы и бумаги для вдумчивого выполнения. Федор Федорович провожал нас, ехал на линию исправлять изгадившийся мост. Поездной машинист, поскучав на ненужных стоянках, гнал поезд. По сторонам пути стояли сигналы уклонов и подъемов, пакетажные столбики и прочие ориентировочные знаки, но никакой машинист сроду не справлялся с этими знаками: машинист чувствовал ногами работу паровозной тележки и настороженной душой безошибочно угадывал координату работы машины, скорости, времени, расписания, тяжести поезда и состояния тормозов. Старые паровозные машинисты по виду небрежны: если бы служилый суслик видел машиниста, как он рассеянно ведет поезд и, не глядя, шурует рычагами, то он непременно оставил бы поезд, вылетел бы из него пулей, боясь безусловной гибели, — и он потребовал бы приставить к машинисту контролера, чтобы контролер «наблюдал». С машиной надо держать себя просто, искренне и самому быть не глупее ее, машина не терпит к себе неопределенных любительских отношений. Все эти мысли пришли Федору Федоровичу. Колеса вагонов отбивали свой речитатив, там проскакивали границы губерний, уездов, вигов и прочего благоустройства. И Федор Федорович сказал:

— Революция — как паровоз. И революционеры должны быть машинистами.

Поезд подходил к станции, тормоза втугачку схватили разыгравшиеся колеса, под вагоном колыхнули вагон стрелки и крестовины станции.

— Вот, слышите, — сказал Федор Федорович. — Ведь если бумажного суслика пустить на паровоз, он поставит там наблюдателя к машинисту. Он втугачку зажмет колеса, из-за бюрократической предосторожности, — колеса революции, и при нем, чего доброго, до социализма доедешь немного позже того момента, когда сам паровоз, ведущий историю, сторит от форсированной работы, таща поезд волокитой на зажатых тормозах.

Федор Федорович сошел с поезда на этой станции. Мы распрощались с ним, расцеловавшись. В нашем вагоне ехали люди с Кавказа, накапливавшие там пластических сил. Нам казалось, что им следовало бы слезть на какой-либо черноземной станции, чтобы отправиться в колхоз на уборку урожая и для выделки кирпичей для новой огнестойкой деревни. Но они ехали — никак не в деревню, нагретые кавказским солнцем.